

## Инквизитор в одеждах структур и систем

Почему последние годы я то и дело встречаюсь с великим инквизитором? То – на экране телевизора, в исполнении Ульянова. То – в режиссуре Камы Гинкаса со сцены ТЮЗа. На этот раз инквизитор выглядит не тираном, а мучеником и получает несколько букетов цветов, больше Ивана, колеблющегося между ним и Христом. И, наконец, – в замечательных дневниках Александра Шмемана, которые я уже цитировал и вынужден теперь повторить:

“Православные “церковники” в сущности, выбрали и, что еще хуже, возлюбили – Ферапонта. Он им по душе, с ним все ясно. Главное, ясно то, что все, что выше, непонятнее, сложнее, – все это соблазн, все это нужно сокрушать. В культуре начинается торжество “русинов” – неославянофилов. Расцвет упрощенчества, антисемитизма. Давно пора понять, что на свете существует очень сильное, очень могучее явление: религия без Бога, религия как средоточие всех идолов, владеющих всем “падшим” человеческим “нутром”... И расхождение между Ферапонтом эмигрантским и Ферапонтом советским – чистая историческая случайность. Большевизм уже и сейчас – национальная русская власть (писано в 1973 г. – Г.П.) [так же] как суть эмигрантского национализма и антикоммунизма – большевистская. У того и другого большевизма – только один враг – свободный человек, особенно же свободный “во Христе”, то есть единственно подлинно свободный. [И у обоих Ферапонтов] подспудная ненависть ко Христу, судящему вечно “церковь” и “великого инквизитора” в ней” (Ал.Шмеман “Дневники”. М., 2005. – с. 18-19).

Фрагмент “Дневников” напоминает “Северовосток” Волошина:

**Что менялось? Знаки и возглавья?**

**Тот же ураган на всех путях:**

**В комиссарах дух самодержавья,**

**Взрывы революции в царях...**

Но вихрь Волошина – национально русский ветер, русская одержимость (или, если вам нравится – пассионарность), русские переходы от застойного беспорядка к надрывному рывку:

**Вздеть на виску, вырвать из подклетья**

**И пустить вперед, через столетья,**

**Вопреки законам естества –**

и снова застыть в застойном беспорядке, накапливая силы для нового Ивана, Петра, Ленина... А у Шмемана это мировое движение, называвшееся в XIX в. прогрессом, и вдруг, в 1914 г., оказавшееся затяжным прыжком в хаос. Неожиданные и стремительные повороты, все более неожиданные и крутые, ошеломили людей, взорвали какие-то древние пласты ненависти и злобы, которые вырывались в массовых движениях.

Шмеман спрашивает себя, почему его тянет к публикации дневников – и не находит ответа. Я думаю, его привлекает откровенная бессистемность заметок. “Следуя за кистью”, – как говорили когда-то в Японии, в годы нараставшего хаоса, – можно не мучиться бесплодными попытками вогнать хаос в систему. Не получаются системы без натяжек. Шмеман выписывает афоризм Т.С.Элиота: “Где мудрость, которую знание заставило нас потерять? Где знание, которое мы потеряли из-за информации?” (с. 32). Вдумайтесь в это. Научное знание разрушило целостность мифа, а поток информации – целостность научных систем. Современность откровенно хаотична. И Шмеман, на шестом десятке, начинает вести дневники, записывая отдельные отклики на факты, события, встречи, оставляя обрывок обрывком, отдельной

фразой, афоризмом в двух строках – или вдруг разворачивая мысль в рассуждении, неожиданно возникшее и вдруг продолженное через год, два...

Мысль записывается, когда она блещет, поражает. Эти вспышки, эти отклики хочется выписывать один за другим, но это невозможно. Пришлось бы переписать треть книги. Приведу два примера, следующие один за другим:

“Разговор с В., который, как всегда, обезоруживает меня своей логикой, хотя логика эта способна доказать всегда лишь часть настоящей правды – и даже ее извратить. Ужас логики, ужасавшей Шестува. Ее жизненное бесплодие. Разумный и логичный человек вряд ли способен к раскаянию. Он способен лишь к анализу” (с. 14). И на следующей странице, после известия о нервном расстройстве у знакомого: “Боюсь, что причина все та же: “с головой ушел в свою деятельность”. А вот этого-то и не нужно. Полная невозможность в какой-то момент увидеть все в перспективе, отрешиться, не дать суеде и мелочности съесть душу... Страшная ошибка современного человека: отождествление жизни с действием, мыслью и т.д. и уже почти полная неспособность жить, то есть ощущать, воспринимать, “жить”, жизнь как безостановочный дар. Идти на вокзал под мелким, уже весенним дождем, видеть, ощущать, осознавать передвижение солнечного луча по стене – это не только “тоже” событие, это и есть сама реальность жизни. Не условие для действия и для мысли, не их безразличный фон, а то, в сущности, ради чего (чтобы оно было, ощущалось, “жилось”) и стоит действовать и мыслить. И это так потому, что только в этом дает нам Себя ощутить и Бог, а не в действии и не в мысли. И вот почему прав Жюльен Грин: “Правда в ином”. “Правда только в качании веток на фоне неба” (с. 15)

Шмеман несколько раз повторяет иное, как слово о глубине бытия, не укладывающейся в слова; он не знает Востока и поэтому не замечает, что “качание веток на фоне неба” – это полноценный дзэнский коан, истина по ту сторону “помраченного сознания”, по ту сторону слепого здравого смысла, слепоты рассудка: “Что такое дзэн? Ветка цветущей сливы” и т.п.

Создавая “Фауст”, Гете воспринимал “дело” как творческое вдохновение, ответ на вызов природы, покорение стихий. Но уже в XIX веке мистер Домби – биологическая машина, машина бизнеса, и Анна Каренина видит в своем муже бюрократическую машину. А в XX веке живые машины начинают сходить с ума, не выдерживают темпов механизмов, которые они создали. Техногенная цивилизация становится цивилизацией неврастеников, шизофреников, наркоманов. Что-то похожее на “исправительную колонию” Кафки. Начальник колонии, создавший машину пыток, сам ложится под зубчатые колеса. И образ зубчатых колес, – видимо, независимо от Кафки, – рождается в дневнике Шмемана. Зубчатые колеса бесплодной, калечашей душу суеты.

Дьявол – логик, говорили в средние века. В фактах и логике – сила великого инквизитора, доказывающего преимущество рабства перед свободой. Царство великого инквизитора растет вместе с ростом систем и структур. Христос беззащитен против логики. Он молчит в ответ на вопрос Пилата: Что есть истина? Ту истину, которая сделает свободным, Пилат не поймет. И в церкви Христос ничего не может сделать против торжества догм, канонов, типиконов, торжества принципов, заменивших Бога.

Прогресс оказался приманкой Мефистофеля. Он создал рабство, уверенное в своей свободе. И так же, как великий инквизитор действует во имя Христа, которого готов сжечь, система систем действует во имя лучшей в мире конституции, пригодной для всех стран, от Вьетнама до Ирака. Рациональные системы, улавливая ум, стискивают душу. И подобно говорящим орудиям первого Рима, рабы Третьего Рима, построенного на Западе, начинают вымирать.

Дневники Шмемана – это постоянный напор ума и воли, рвущихся с поверхности, из обволакивающей суеты, вглубь, к подлинной свободе, к “свободе во Христе”, к “вечности во

времени”. Он чувствует эту вечность утром, по дороге в храм, и в пустом храме – до и после обедни. Но попадая на свое место в системе, теряет себя, попадает во власть слов и тестов, на которые налипла вековая фальшь. И освобождается от нее, садясь за свой дневник, давая волю неожиданным импровизациям.

Эта структура книги перекладывает на плечи читателя задачи, которые обычно выполняет автор: свести вместе повторы, объединить противоречия какой-то общей мыслью и т.п. Но на сегодняшний день я не встречал более яркой и вдохновляющей картины кризиса христианской цивилизации. Книга постоянно заставляет думать, она рисует хаос и упадок резко, откровенно, но без отчаяния, она зажигает стремлением преодолеть болезнь века, она присуждает церкви к страшному суду, но судьей видит Христа, и союзник ее в борьбе – живое дыхание Святого Духа в природе, противостоящей западной цивилизации со всеми ее чудесами техники. Мы с Зинаидой Александровной уже писали, в нашей общей книге о великих религиях, что глубина каждой из них ближе к глубине другой, чем к собственной поверхности. Книга Шмемана превосходно это подтверждает. По дороге в глубину она невольно открывает то, что всегда понимали на Востоке, не переоценивая возможностей правовой свободы, за которую много веков боролись на Западе. И сегодня, когда правовая свобода и законность не в силах остановить упадок Запада, когда господство дела становится демонической силой, когда выход нащупывается в культуре созерцания, культуре внутренней свободы, – Шмеман открывает основы этой внутренней свободы, повторяя слово иное как мантру, как знак неповторимой глубины, в которой потонет зло. Мне бросается в глаза, что он вплотную подходит к мудрости упанишад, которых не читал, и к мудрости дзэн. А временами начинает мыслить в категориях инь, ян, дао, опять-таки не вспоминая этих слов. Под впечатлением разговора с женой о феминизме он импровизирует блестящий ряд противопоставлений мужского и женского, незаметно вступая в след Лаоцзы:

“Само сведение жизни исключительно к “структурам”, безличным и “объективным”, и есть основной грех мужского мира, мужского восприятия жизни (Маркс, Фрейд). Дух геометрии. Отсюда – главная ошибка современного феминизма, принятие им этого “структурального” подхода, борьба за место в “структурах” (мира, церкви, государства и т.д.)

Тогда как подлинная “миссия” женщин – это явить недостаточность, односторонность и потому страшный вред и зло этого сведения жизни к “структурам”.

Женщина – жизнь, а не о жизни. Поэтому ее миссия – вернуть человека от формы к содержанию жизни. Ее категории те, которым априори нет места в структуральных, “мужских” редукциях; красота, глубина, вера, интуиция. Всему этому нет и, что еще важнее, не может быть места в “марксизмах”, “фрейдизмах” и “социологиях”.

Мужчина ищет “правила”, женщина знает исключение. Но жизнь – это одно сплошное исключение из правил, созданных путем “исключения исключений”. Всюду, где подлинная жизнь, – царствует не правило, а исключение. Мужчина: борьба за “правила”. Женщина: живой опыт “исключения”.

Но “исключение” это и есть глубина христианства как жизни. В жизни, созданной и дарованной Богом, – все “исключение”, ибо все – единственность, неповторимость, из глубины бьющий ключ.

Секс – правило, любовь – исключение. Но правда о жизни и правда жизни – любовь, а не секс.

Человек призван не к осуществлению правил, а к чуду жизни. Семья: чудо. Творчество: чудо. Царство Божие: чудо...” (с. 542–543).

В последнем отрывке интуиция Шмемана, достигая вершины, разрушает схему, логическое противопоставление мужского и женского. Семья действительно чудо, но это гармония инь и ян, это не инь и ян сами по себе, это их единство, дао. И творчество – чудо, но в нем тоже нет правил без исключений и исключений без правил. Серов говорил, что в эскизах портрета он стремится выявить главное в характере, а потом ищет волшебную ошибку; без нее портрет выйдет мертвым. Правила безусловно господствуют в “Поэтическом искусстве” Буало, в теории классицизма, но не в практике Корнеля. Гете говорил, что писатель должен разучиться грамматике. Я пытаюсь следовать этому призыву, а редакторы и корректоры (по большей части, женщины) меня мучают своими поправками. Мне хочется сказать, что душа наша андрогинна, в ней есть и мужской, и женский гендер; половое созревание только подчеркивает одно или другое. Симона де Бовуар права – женщиной не рождаются, ею становятся. И мужчины становятся, я это замечал в самом себе, особенно на войне.

Тем не менее, основная мысль Шмемана в цитированном фрагменте верна. Традиционной культуре не хватает творческого участия женщин. Или, если говорить в современных терминах, женственного гендера, женственного начала. Расширение женственной доли в духовном наследии – один из путей к преодолению царства великого инквизитора. Великий инквизитор –

князь систем и структур; он властвует, независимо от того, воплотился ли его дух в кардинале или действует анонимно. По мере роста систем и структур, должен расти и противовес им. Появление таких женщин, как Екатерина Федоровна Кольшкينا, не случайно. Роль Антигоны не кончилась в древней Греции, она будет расти и расти. И в том – один из противовесов, которые выравнивают нашу цивилизацию, наклонившуюся в сторону дегуманизации до того, что впору и вовсе опрокинуться.

Не может быть абсолютной общественной свободы, без капли принуждения, и абсолютного принуждения, без выхода в свободу. Христос тянул к внутренней свободе, к царствию внутри нас, и это не утопия. Но мы перестаем слышать внутренний голос, оглушенные грохотом машин. Мы не можем остановить их зубчатые колеса, но можем избежать оупения от их скрежета, погружаясь иногда в тишину природы и вечно женственного, не способного забыть, что оно часть природы, а не интеллектуальная машина. Одухотворенная природа, а не усовершенствованная машина.